

Последние встречи Записи 1990-х годов

*Как я назову эти записи, я знал с самого начала. А почему – понял позже. Я ведь не имел тогда в виду, что вот-вот закончится жизнь моя или моих собеседников и персонажей. Но было, значит, интуитивное понимание того, что необратимо меняется время, что все привычное, хорошее и плохое, как говорил один философ, «отпадает в прошлое», и **таких** встреч, **таких** людей и отношений, **таких** разговоров и обстоятельств, как в те 1990-е годы, уже не будет. А когда эта смена времен отчетливо оформилась во всей нашей жизни, почему-то пропала и потребность что-либо записывать, оформлять словом эпизоды повседневности.*

Кому эти встречи могут быть теперь интересны – право, не знаю. Мне кажется, тем, кто не жил в то время, покажутся странными и непонятными намерения, сожаления, бескорыстие, нелепость, простоватость и разговорчивость этих людей прошлого, а также и бытовые обстоятельства их жизни. Хотя... понимаем же мы кое-что даже в жизни людей других народов и тысячелетий.

Автобус до деревни «Лукино» двинулся по кругу. Ларьки, пеньки, туалеты, снова ларьки. Сосед, местный, лет пятидесяти или старше, говорит как бы никому:

- Раньше приедешь сюда, пива возьмешь. И *этой* стакан. Всего нас лишили.

- Чего?

Он не расслышал:

- Ясное дело, не мы с тобой.

- Лишили-то чего?

- Всех удовольствий русских. Всех наших доступностей. Ради немногих лиц. Вон дома стоят – смотри.

И указал на двух-трехэтажные кирпичные особняки, которые начали прорастать в Подмоскowie.

Думаю про себя банальную мысль: прогнило все, вот и рухнуло. Он отвечает вслух:

- Говорят, плохо работали. Мы работали по 16 часов! По тридцать дней в месяц! И женщины! Обед – двадцать минут! В уборную сбегать не успевали!

- Тоже не очень-то весело...

- А интерес к жизни - был.

- В молодости все интересно.

- Жили, конечно, впроголодь. И при Сталине, и после... И до революции... Всегда русский народ жил впроголодь.

Сбил сам себя с толку и замолчал до конца поездки.

Жарким утром дожидаясь автобуса в сторону города Истра. На лавке под навесом сидит деревенский старик. Рубашка в клетку, небрит, с редкими зубами. Руки больные, припухшие, на одной язва. Видно, что и ходит с трудом. Об ноги трется толстая черная дворняга. Немного поодаль сидит женщина моложе его, но тоже в годах.

- Так он умница! –отвечает она ему, продолжая разговор.

- А на самом деле это были братья Жем-чуж-ни-ко-вы. Их три брата, и Толстой. Не тот, который, знаете, писал... (старик во всю ширь разводит руки) ... писал...

- Роман?- подсказывает она.

- Роман. А тот: «Средь шумного бала! Случайно!» Помните? «Средь шумного бала, случайно...»

- «В тревогах мирской суеты тебя я увидел ...» Тьфу! Псина! Иди, иди к хозяину!

- Вот Толстой и написал там самые лучшие стихи. А один из трех братьев был художник, он нарисовал Козьму Пруткова. То есть его портрет. У меня дома такая книга есть.

И вдруг, ко всем нам:

- Вы мне с собакой поможете?

- Вы бы лучше ее так отправили.

- Мне жалко ее.

- Одна остановка, добежит она!

- Жалко ее.

- Раньше ездила в автобусе?

- Нет, первый раз.

- Плохо – ошейника нет.

- Был ошейник, вот след от него...

Подошел автобус, почти пустой. Старик залез, собака мечется и не прыгает. Водитель трогает, старик озирается по сторонам. Женщина-кондуктор – в крик:

- Стой!! С ума сошел?

- Что же, до вечера ждать?

Но останавливает. Выскакивает хромой старик, с ним чужая девушка в светлом платье, втаскивают черную псину. Я тоже помогаю, но со ступенек: уедет еще с моими тремя сумками...

Через минуту они сошли. Смотрю, как в заднем окне убывает картинка: старик застыл у дороги, словно забыл, где дом, и пузатая собака на задних лапах танцует. Хозяин рядом, солнышко греет, ужасный автобус исчез, жизнь продолжается!

В понедельник, на мокрой платформе, два похожих старика. Один с тележкой, в непромокаемой шапочке. Другой в фуражке с черным околышем и в подвернутых брюках.

- Что это у тебя, Василий Иванович, одна портчина короче, другая ниже? Тот пытается поправить, но бросает.

- Не идет еще?

- Вчера хорошо-о-о поезда ходили! Позавчера плохо. А вчера хорошо: туд-да – сюд-да, туд-да – сюд-да...

- Вчера воскресенье было. И Петров день.

- Ты работаешь, или отдыхаешь?

- Где «работаешь»? Сейчас не приглашают. Приглашали на Поклонной горе. И в Чечню.

- А в Чечню что делать?

- Порядок наводить. Дураков ищут. Сами бы и ехали. Вон, Дума сидит.

- В Думе человек четыреста, пятьсот...

- И ни один не едет. Все справки достали. Больные все.

- Вон, идет.

Отец Владимир рассказал, как церковное начальство посылало его в деревню посмотреть, что там за бабка взялась лечить новорожденных от крика.

Приехал, познакомились.

- Ну, как же ты лечишь?

- Я, батюшка, такие молитвы читаю, потом такие...

- Так-так...

- Потом водой кроплю...

- Так-так...

- Потом дверью туда-сюда, так вот, и скажу только: «скрип-скрип, возьми у раба Божьего крик». И все.

Помолчали.

- А без этого нельзя?

- Не получается, батюшка.

- А деньги берешь?

- Если едет кто мимо окна – кинет капусты вилок, или еще что - возьму. А денег не беру.

- Ну, Бог с тобой. Лечи пока.

Вернулся к начальству с отчетом. Так мол и так она молится, потом водой кропит, потом дверью ... И все.

Помолчал.

- А без этого нельзя?

- Не получается, владыка.

- А деньги берет?

- Если кто мимо едет, вилок капусты кинет, или еще что. Денег не берет.

- Ну, Бог с ней, пусть лечит.

На той стороне платформы, в ночном небе, сияет сварка. На нашей стороне столпился народ и медленно стекает вниз. Когда толпа доносит до края платформы и прижимает к железной ограде, видишь картонку с надписью «Проход закрыт». Цепляясь за прутья ограды, старые и малые пробираются по узкой кромочке и спрыгивают в черноту, где вьются и сверкают рельсы.

- Проход закрыт, а все идут...
- Мы читать умеем, верно?
- Слава Богу, буквы не забыли...

С противоположной стороны к платформе приставили железное изголовье от старой кровати и карабкаются по тонким прутьям, как по лесенке.

- Это Россия!
- Дедушке помоги...
- Игорь, Игорь! Осторожно!
- Это – Россия...

Раскинув плащ на каменном парапете, весь в живых цветах, сидит и курит великан в круглой шляпке и больших-пребольших клоунских башмаках. У ног его дремлет громадная собака.

- Прекрасно сделано, просто прекрасно! Слов нет. Паша, идем, Па-ша! Рядом доска прямо в земле, написано: «Уланова».

- А скромность какая! Столько перетерпела - и даже памятника нет. Па-ша!

Потный Паша подпрыгивает перед великаном с собакой и, скидывая руки, силится сорвать с себя душную фуфайку.

- Никулин! Пока!
- Покосился на меня, и еще звонче:
- Никулин! Пока!
- Нет, вы подумайте только, памятника даже нет... Па-ша!
- Делается, наверное...
- А кому делать-то? Па-ша! Делать-то кому? У Никулина сын, жена.

Паша, уходим!

- Министерство должно...

Мальчик в фуфаечке еще раз обернулся из глубины аллеи: Нику-у-у-лин!
Пока-а-а-а...

К Ильину дню дождались-таки летнего тепла. Идем с сумками из сельского магазина, и солнце чувствительно припекает лысину.

Посреди улочки мама, бабушка, две коляски и два мальчика уже не колясочного размера. Старший, лет чуть ли не четырех, крупный, полноватый, ничего вокруг не видя и не слыша, сосредоточенно карабкается в коляску, которую едва удерживает худенькая, долговязая мама.

Пройдя достаточно вперед, чуть слышно говорю жене: «Его самого можно в коляску запрягать...» И тотчас в ответ раздается звонкий, радостный крик на весь поселок: «А у дяди голова – ГОЛАЯ!».

Мне смешно вдвойне от мысли, что сам «первый начал». Слышим, что говорят далеко позади мама и бабушка: «Да, и у тебя голая, одень-ка, одень шапочку...»

Эх, взрослые, не понять вам детскую образность. А может, и поняли, но притворились, чтобы лысого не обидеть.

Во всю длину тротуара разлеглась глыба оледенелого снега. Прохожие, уступая друг другу, протискиваются между глыбой и капотами машин.

Нескладная старуха скользит и, охнув, медленно ложится на глыбу. Подняли. Кряхтит, но не уходит, а топчется на скользком месте, и в глазах у нее остекленел какой-то вопрос. Оказывается, за глыбой – дверь в приемную депутатов, а ей туда как раз и нужно...

У входа в метро «Библиотека имени Ленина» меня догоняет пожилой высокий мужчина.

- Приемная – и лед не обколоть! Хоть у двери могли бы обколоть. Или нет? Только зачем к ним ходить? Что при советской власти, то и теперь: им напишешь, а они перешлют тому, на кого пишешь.

- Чтобы не писали.

- Вот именно! – смеется попутчик, уже входя в метро. Мы с Вами пожилы, понимаем кое-что. Я как-то написал – а он меня в кабинет вызывает: «Что это ты на меня пишешь?» Бесполезное дело. Лучше меду купить и принимать регулярно. Дороговато, правда. Вы что смотрите? К «Парку» – направо, в центр – налево...

После службы Духова дня бредем к железнодорожной станции. Сирень льнет к дощатым домикам, дворняжка в ошейнике дремлет в зеленой травке, среди одуванчиков. Идем неторопливо и осуждаем строителей высоких сплошных заборов.

Справа догоняет маленькая незнакомая женщина средних лет.

- У нас в городе Актюбинске в Казахстане поселился молдаван стал дом строить нанял людей и сказал работать только по будням а в воскресенье и

по праздникам чтобы никакой работы они так и так а он тогда не будете это делать а когда в 72-м или в 73-м году пошел смерч все вокруг понесло-побило а этот дом и не задело вот как Господь награждает благочестивых!

Шагов десять прошли молча.

- А бабка жила так она как увидит идет смерч она к Николаю чудотворцу ой Николай чудотворец только сохрани мой дом а я тебе молебен отслужу и через неделю или две ей снится Николай чудотворец говорит что же ты обещала молебен отслужить бабка подхватила кагору две бутылки взяла и в церковь бегом ой девочки так и так и отслужили молебен!

- Значит, - вставляю словечко – простил он ее.

- Простил. Она ведь забыла, а не так... не то что не захотела. А Господь видит, что в нас. Да, чудес хватает на наше время! Недаром в книгах пишут...

И ушла на другой конец платформы.

- Алло! Не разбудил? Привет! Я тебя не разбудил? Послушай, я рассказ хочу написать. Слушай.

Мы когда рисовали в студии... Обнаженную натуру рисовали. Сидит натурщица, а мы с одним парнем переругиваться стали из-за чего-то. Переругивались – переругивались, а учитель терпел - терпел и говорит: что вы, как бабы на базаре? Поругались – подеритесь, и все.

Я говорю: я готов. Я тогда и боксом немного занимался. И он говорит: я готов. Раздвинули мольберты – представляешь? – и подрались.

А обнаженная – она же так не может, учитель-то мужик, а она не может так смотреть. И она - ты представляешь! – обнаженная...

Тут из глубины комнаты доносится хриловатый голос:

- Ну, хватит, сколько можно эти стариковские...

- Слезает с подиума – представляешь!...

- Надоели, надоели уже эти...

- И начинает – нет, ты представь! Разнимать!

- Хватит, хватит, эти стариковские...

- Ну, ладно, пока. Муза моя проснулась. Пока, пока.

У входа в трапезную, ожидая ужина, сидят и стоят паломники. В дверях – парень в камуфляжной куртке и пожилая монахиня, улыбчивая, со степным прищуром. То одному, то другому дает нетрудные поручения.

- Спаси вас Господи за ведро. Батюшка Серафим – он все видит! А отказываться нехорошо. Батюшка, он...

Охранник встает на пути чудной громогласной старухи.

- Сестра, предъяви талон! Ты паломница?

- Какая я паломница! – кричит старуха. Я 16 лет...

- Талон покажи.
- Меня и без талона должны кормить!
- Почему тебя должны кормить, объясни? Почему?
- Ты посмотри мне в глаза! – старуха раздвигает пальцами веки. – В них Господь!
- Здесь кормят только паломников и рабочих. Поняла, сестра?
- Меня благочинная благословила!
- Благочинная благословляет с талоном.
Монахиня вставляет: « Она пенсию получает. Хорошую.»
- Ну и что, получаю? Ты тоже получаешь.
- Я еще не заслужила.
-Иди, иди отсюда, сестра... Брат, где твой талон?
- Это ты сказал «брат»? Скажи лучше «Эй, ты!». И я скажу; «Эй, ты!»
-Талон покажи.
- Я майор ОМОН.
- Предъяви документ. Словам я не верю.
- Меня сам Алексей второй благословил, понял?
- Брат! Ты же пьяный! Ты напился и в монастырь пришел?
- У меня такое благословение! Я даже исповедуюсь пьяный. Ис-по-веду-юсь! Пьяный.
- Давай, давай, брат, наверх, направо, и за ворота.
- Нас шесть человек! Мы все мигр-р-анты! Неужели мы...
А ужина все нет. Монашка с прищуром прогуливается вдоль рядов ожидающих.
- Я постараюсь тебя запомнить. И если еще придешь в штанах – пойдешь за юбкой.
Девочка лет 13-ти сидит, глядя в пол, ручонки на коленках.
- Ты надолго?
- Нет, скоро уедем.
- Слава Богу! Ой-ой-ой, и ногти покрасила! Ты бы еще голову покрасила.
Наголодавшийся дядя заглядывает в трапезную, где монашки доедают свою кашу.
- Ты в монастырь молиться приехал, или на сестер глазеть? Здесь тебе не цирк. Последним пойдешь.
-А я и так последний – смеется дядя.
Думаю: нарочно, что ли, такую в дверях поставили? Тут выходит монашка поглавнее.
- Что сидите? Все готово. И служба давно кончилась. Заходите. Заходите...
Рассаживаемся по лавкам. Девочка с маникюром берется раскладывать старшим кашу, я молча подаю ей знаки сочувствия. Через полчаса натыкаюсь на нее в монастырском дворе, не сразу узнаю в темноте и не сразу понимаю, что она говорит.
- У Вас на тетрадку не найдется? Тетрадку купить.

Выскребаю из кармана что было: рубль и пять копеек. Подумала, брать ли, взяла и потопала вдоль ограды.

Может, и неспроста к ней «степнячка» придиралась?

- У вас о преподобном Серафиме так говорят, будто он сейчас вот дверь откроет (невольно показываю рукой, как открывают дверь).

Хозяйка глядит удивленно:

- Так и есть. Вот я тебе расскажу. Я в больнице лежала с коленками. А домой прихожу – у нас пальма засохла, кошка ушла, и хозяин мой с сыном не спят. Ночью спать не могут. Говорят: зови племянника.

А племянник у меня учителем работает, но верующий. И молится, знаете, не так как мы: то прочитаешь правило, то забудешь, то мы устали... А он молится всегда.

Приходит – и кошка за ним идет до порога, а в дом не заходит. Стал молиться. А мне говорит: «Ты на меня-то не смотри, глаза закрой и сиди».

Закрыла – и вижу: дверь эта вот открывается, и преподобный стоит. Я не глазами вижу, а... головой, понимаете? Мозгом.

Одет он – я раньше не видела: в белую рубаху холщевую, подпоясан низко. И у него... не горб, а здесь вот, в поясице он согнутый... И после этого сразу все наладилось.

Еще расскажу: один наш в лесу заблудился, поблизости, а уже ночь, и в тот год были волки. Встречается старичок: «Ну, что, заблудился? Пойдем, выведу». Вышли на дорогу. Это, говорит, дорога на Дивеево.

- Ну, теперь я сам найду.

Пришел в Дивеево и думает: «Надо бы за того мужичка свечку в церкви поставить». Подходит к иконе: «Ах, ты! Это же и есть тот мужичок!» А ему говорят: «Это не мужичок, а преподобный Серафим Саровский». Году в 78-м это было. Я так думаю: он является, когда в критическом положении. А не в критическом не является.

Вот, я Вам еще расскажу. Сидим мы летом во дворе, и вдруг я встаю... и пошла. Куда иду? Сама удивляюсь, мне ничего не нужно. Навстречу женщины, только с автобуса. Я вдруг и говорю: «Вам, может, квартира нужна?»

-Нужна!

Ну, устроились, ушли в монастырь. А вечером старшая – она старостой в церкви – рассказывает. Я, говорит, в автобусе еду и молюсь: батюшка Серафим, ты только нас вначале устрой, а потом мы пойдем, тебе поклонимся.

Ну, это не чудо, скажи? А у меня-то радость: он ведь *меня* поднял! Я же никуда не собиралась. Он мог их в любом доме поселить.

В день отъезда выхожу из церкви, незаметной снаружи, тесной и дивной внутри, где лежат мощи трех святых монахинь Дивеевских. Выхожу, пригибаясь, из низенькой дверцы, и слышу: «Брат!»

Зовет уборщица с ведром, румяная, среди белого снега. Думал, помощь нужна.

- Ты у благодатного дерева был? Пойдем.

- На могиле Мотовилова?

- Да. И Михаил там.

Михаил ? ... Мотовилов, помнится, Николай. Подходим к старой березе с усыхающей вершиной, но с широкой кроной. На коре ствола большой нарост.

- Вот он, Миша. Тот, которого батюшка Серафим кормил. Это он к нам вышел.

Нарост, в самом деле, поразительно похож на медвежью голову, я вчера там был, а этого не заметил.

- Да что ты! Он живой, вот глазки. А тут вот, на коре, икона «Умиление». Но это как когда увидишь, сейчас погода мокрая. А иной раз – в точности «Умиление». А Мишутка живой, вон – с глазками!

- А что батюшки? Не ругаются?

Румяная уборщица улыбается, глядя вбок.

- Не, не ругаются. Они и фотографируются здесь. А что ругаться? Это же тот, который к преподобному ходил. Другой сюда не придет.

Старая домработница, медленно шевеля губами, читает Чехова.

- Что же, этого доктора... Топоркова... тоже не было? Зачем это выдумывают?

И стала вспоминать, как давно-давно, в Ленинграде, искала могилу Евгения Онегина, а прохожие смеялись.

«Ленка дура, - рассказывает хозяйка про глуховатую работницу, - я ей сказала: Бог был еврей, если Он был, а она: нет, Он православный! Такая дурра...»

А маленькая Оленька лезет няне на коленки: «Ле-е-н, я когда леж-у-у ... я не сплю-ю-ю и все слу-у-шаю, слу-шаю... И все не сплю, не сплю-ю...»

Елена Анисимовна улыбается кривым ртом: «Да што ты говоришь! Ох, девка, надо тебе к колдунам стащыть.»

Спустила девочку на пол и заковыляла к плите.

Свежим утром пьем чай у восточной стены дачного домика.

Лучи солнца текут по высоким стволам, звуки органа из маленького приемника заполняют овраг, и небо, и весь Божий мир. А крошечные птички вставляют свои трели, да так удачно, что, Бах если бы услышал, включил бы, пожалуй, в свою партитуру.

Птички все ближе, ближе, с ветки на ветку, с куста на куст, одна даже села на угол нашего широкого стола.

Тут музыка завершилась, и врезался немолодой женский голос, говоривший правильные слова: «надо – быть - сострадательным – милосердным - помогать несчастным - бедным - больным - потому что - нет ничего - важнее – любви - к ближнему- и только так - мы -выполним - наш...»

Одна упорхнула, за ней вторая, третья. Тут и голос замолк, но какие-то новые звуки донеслись из-под облака.

- Вон, вон одна!

- Нет, эта большая... Это коршунок...

Служба закончилась, но церковь еще полна. Из правого алтаря вышел старый священник и, осаждаемый людьми, медленно-медленно пробирается к выходу. Старуха выше и шире его встает на пути.

- Батюшка, вить за неверующих нельзя молиться, да вить? Нельзя?

В голосе слышна надежда, что нельзя. Священник удивленно поднимает тяжелые веки.

- Это почему же?

- Так вить враг-то цепляется, когда за неверующего молиси, враг-то...

— Не знаю, не знаю, преподобный Макарий за Сатану молился.

- Так то преподобный, мы-то не преподобные!

- Ох, должны же, должны бы и мы стать преподобными...

И продолжает, опустив глаза, пробираться среди несчастных людей, которые и теснят, и мучают, и льнут к нему, а на усталом лице та самая любовь, которая «все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит».

—